

Максим Горький

# Как я учился



# Максим Горький

## Как я учился

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=640195](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=640195)*

### **Аннотация**

«Когда мне было лет шесть-семь, мой дед начал учить меня грамоте. Было это так...»

# Максим Горький

## Как я учился

Когда мне было лет шесть-семь, мой дед начал учить меня грамоте. Было это так.

Однажды вечером он достал откуда-то тоненькую книжку, хлопнул ею себя по ладони, меня по голове и весело сказал:

– Ну, скула калмыцкая, садись учить азбуку! Видишь фигуру? Это – «аз». Говори: «аз»! Это – «буки», это – «веди». Понял?

– Понял.

– Врёшь.

Он ткнул пальцем во вторую букву.

– Это – что?

– «Буки».

– Это?

– «Веди».

– А это? – Он указал на пятую букву.

– Не знаю.

– «Добро». Ну – это какая?

– «Аз».

– Попал! Говори – «глаголь», «добро», «есть», «живёте»!

Он обнял меня за шею крепкой, горячей рукой и тыкал пальцами в буквы азбуки, лежавшей под носом у меня, и кричал, всё повышая голос:

– «Земля»! «Люди»!

Мне было занятно видеть, что знакомые слова – добро, есть, живёте, земля, люди – изображаются на бумаге незатейливыми, маленькими знаками, и я легко запоминал их фигуры. Часа два дед гонял меня по азбуке, и в конце урока я без ошибки называл более десяти букв, совершенно не понимая, зачем это нужно и как можно читать, зная названия буквенных знаков азбуки.

Насколько легче учиться грамоте теперь, по звуковому способу, когда «а» так и произносится – «а», а не «аз», «в» – так и есть «в», а не «веди». Великую благодарность заслужили учёные люди, придумавшие звуковой приём обучения азбуке, – сколько детских сил сохраняется благодаря этому и насколько быстрее идёт усвоение грамоты! Так – повсюду наука стремится облегчить труд человека и сберечь его силы от излишней траты.

Я запомнил всю азбуку дня в три, и вот наступило время учить слога, составлять из букв слова, Теперь, по звуковому способу, это делается просто, человек произносит звуки: «о», «к», «н», «о» и сразу же слышит, что он сказал определённое, знакомое ему слово – «окно».

Я учился иначе: для того, чтоб сказать слово – «окно», я должен был проговорить длинную бессмыслицу: «он-ка-ко-наш-он-но=окно». Ещё труднее и непонятнее складывались многосложные слова, например: чтобы сложить слово «половица», нужно было выговорить «покой-он=по=по»,

«люди-он=ло=поло», «веди-ик=ви=полови», «цы-аз=ца=половица»! Или «червяк»: «червь-есть=че», «рцы-веди-яз=рвя=червя», «како-ер=къ=червякъ»!

Эта путаница бессмысленных слогов страшно утомляла меня, мозг быстро уставал, соображение не работало, я говорил смешную чепуху и сам хохотал над нею, а дед бил меня за это по затылку или порол розгами. Но нельзя было не хохотать, говоря такую чепуху, как например: «мысле-те-он=мо=мо», «рцы-добро-веди-ивин=рдвин=мордвинъ»; или: «буки-аз=ба=ба», «ша-како-иже-ки=шки=башки», «арцы-ер=башкирь»! Понятно, что вместо «мордвин», я говорил «мордин», вместо «башкир» «шибир», однажды сказал вместо «богоподобен» «болтоподобен», а вместо «епископ» «скопидом». За эти ошибки дед жестоко порол меня розгами или трепал за волосы до головной боли.

А ошибки были неизбежны, потому что в таком чтении слова трудно понять, приходилось догадываться о смысле их и говорить не то слово, которое прочитал, да не понял, а похожее на него по звукам. Читаешь «рукоделье», а говоришь – «мукозей», читаешь «кружева», говоришь «жевать».

Долго – с месяц и больше – маялся я на изучении слогов, но стало ещё трудней, когда дед заставил меня читать псалтырь, написанный на церковно-славянском языке. Дед хорошо и бойко читал на этом языке, но он сам плохо понимал его различие от гражданской азбук. Для меня явились новые буквы «пса», «кси», дед не мог объяснить, откуда они, бил

меня кулаками по голове и приговаривал:

– Не «покой», дьяволёнок, а «пса», «пса», «пса»!

Это была пытка, она продолжалась месяца четыре, в конце концов я научился читать и «по-граждански» и «по-церковному», но получил решительное отвращение и вражду к чтению и книгам.

Осенью меня отдали в школу, но через несколько недель я заболел оспой и учение прервалось, к немалой радости моей. Но через год меня снова сунули в школу – уже другую.

Я пришёл туда в материных башмаках, в пальтишке, перешитом из бабушкиной кофты, в жёлтой рубаше и штанах «навыпуск», всё это сразу было осмеяно, за жёлтую рубашу я получил прозвище «бубнового туза». С мальчиками я скоро поладил, но учитель и поп невзлюбили меня.

Учитель был жёлтый, лысый, у него постоянно текла кровь из носа, он являлся в класс, заткнув ноздри ватой, садился за стол, гнусаво спрашивал уроки и вдруг, замолчав на полуслове, вытаскивал вату из ноздрей, разглядывал её, качая головою. Лицо у него было плоское, медное, окисшее, в морщинах лежала какая-то прозелень, особенно уродовали это лицо совершенно лишние на нём оловянные глаза, так неприятно прилипавшие к моему лицу, что всегда хотелось вытереть щёки ладонью.

Несколько дней я сидел в первом отделении, на передней парте, почти вплоть к столу учителя, – это было нестерпимо, казалось он никого не видит, кроме меня, он гнусил всё

время:

– Песко-ов, перемени рубаху-у! Песко-ов, не вози ногами! Песков, опять у тебя с обуви луза натекла-а!

Я платил ему за это диким озорством: однажды достал половину арбуза, выдолбил её и привязал на нитке к блоку двери в полутёмных сенях. Когда дверь открылась – арбуз взъехал вверх, а когда учитель притворил дверь – арбуз шапкой сел ему прямо на лысину. Сторож отвёл меня с запиской учителя домой, и я расплатился за эту шалость своей шкуркой.

В другой раз я насыпал в ящик его стола нюхательного табаку, он так расчихался, что ушёл из класса, прислав вместо себя зятя своего – офицера, который заставил весь класс петь «Боже, царя храни» и «Ах, ты, воля, моя воля». Тех, кто пел неверно, он щёлкал линейкой по головам как-то особенно звучно и смешно, но не больно.

Законоучитель, красивый и молодой, пышноволосый поп, невзлюбил меня за то, что у меня не было «Священной истории ветхого и нового завета» и за то, что я передразнивал его манеру говорить.

Являясь в класс, он первым делом спрашивал меня:

– Пешков, книгу принёс или нет? Да. Книгу?

Я отвечал:

– Нет. Не принёс. Да.

– Что – да?

– Нет.

– Ну, и – ступай домой. Да. Домой. Ибо тебя учить я не

намерен. Да. Не намерен.

Это меня не очень огорчало, я уходил и до конца уроков шатался по грязным улицам слободы, присматривался к её шумной жизни.

Несмотря на то, что я учился сносно, мне скоро было сказано, что меня выгонят из школы за недостойное поведение. Я приуныл – это грозило мне великими неприятностями.

Но явилась помощь – в школу неожиданно приехал епископ Хрисанф.

Когда он, маленький, в широкой чёрной одежде сел за стол, высвободил руки из рукавов и сказал:

«Ну, давайте беседовать, дети мои!» – в классе сразу стало тепло, весело, повеяло незнакомо приятным.

Вызвав, после многих, и меня к столу, он спросил серьёзно:

– Тебе – который год? Только-о? Какой ты, брат, длинный, а? Под дождями часто стоял, а?

Положив на стол сухонькую руку, с большими острыми ногтями, забрав в пальцы непышную бородку, он уставился в лицо мне добрыми глазами, предложив:

– Ну-ко, расскажи мне из священной истории, что тебе нравится?

Когда я сказал, что у меня нет книги и я не учу священную историю, он поправил клобук и спросил:

– Как же это? Ведь это надобно учить! А может, что-нибудь знаешь, слышал? Псалтырь знаешь? Это хорошо! И мо-



литвы? Ну, вот видишь! Да ещё и жития? Стихами? Да ты у меня знающий.

Явился наш поп, красный, запыхавшийся, епископ благословил его, но когда поп стал говорить про меня, он поднял руку, сказав:

– Позвольте минутку... Ну-ко, расскажи про Алексея человека божия?..

– Прехорошие стихи, брат, а? – сказал он, когда я приостановился, забыв какой-то стих. – А ещё что-нибудь?.. Про царя Давида? Очень послушаю!

Я видел, что он действительно слушает и ему нравятся стихи; он спрашивал меня долго, потом вдруг остановил, осведомляясь быстро:

– По псалтырю учился? Кто учил? Добрый дедушка-то? Злой? Неужто? А ты очень озорничаешь?

Я замялся, но сказал – да! Учитель с попом многословно подтвердили моё сознание, он слушал их, опустив глаза, потом сказал, вздохнув:

– Вот что про тебя говорят – слышал? Ну-ко, подойди!

Положив на голову мне руку, от которой исходил запах кипарисового дерева, он спросил:

– Чего же это ты озорничаешь?

– Скушно очень учиться.

– Скучно? Это, брат, неверно что-то. Было бы тебе скучно учиться – учился бы ты плохо, а вот учителя свидетельствуют, что хорошо ты учишься. Значит, есть что-то другое.

Вынув маленькую книжку из-за пазухи, он написал:

– Пешков, Алексей. Так. А ты всё-таки сдерживался бы, брат, не озорничал бы много-то! Немножко – можно, а уж много-то – досадно людям бывает! Так ли я говорю, дети?

Множество голосов весело ответили:

– Так.

– Вы сами-то ведь немного озорничаете?

Мальчишки, ухмыляясь, заговорили:

– Нет. Тоже много! Много!

Епископ отклонился на спинку стула, прижал меня к себе и удивлённо сказал, так, что все – даже учитель с попом – засмеялись:

– Экое дело, братцы мои, ведь и я тоже в ваши годы-то великим озорником был! Отчего бы это, братцы?

Дети смеялись, он расспрашивал их, ловко путая всех, заставляя возражать друг другу, и всё усугублял весёлость. Наконец встал и сказал:

– Хорошо с вами, озорники, да пора ехать мне!

Поднял руку, смахнул рукав к плечу и, крестя всех широкими взмахами, благословил:

– Во имя отца и сына и святого духа, благословляю вас на добрые труды! Прощайте.

Все закричали:

– Прощайте, владыко! Опять приезжайте.

Качая клобуком, он говорил:

– Я приеду, приеду! Я вам книжек привезу!

И сказал учителю, выплывая из класса:

– Отпустите-ка их домой!

Он вывел меня за руку в сени и там сказал тихонько, наклоняясь ко мне:

– Так ты – сдерживайся, ладно? Я ведь понимаю, зачем ты озорничаешь! Ну, прощай, брат!

Я был очень взволнован, какое-то особенное чувство кипело в груди, и даже когда учитель, распустив класс, оставил меня и стал говорить, что теперь я должен держаться тише воды, ниже травы, я выслушал его внимательно, охотно.

Поп, надевая шубу, ласково гудел:

– Отныне ты на моих уроках должен присутствовать! Да. Должен. Но – сиди смиренно! Да. Смирно.

Поправились дела мои в школе – дома разыгралась скверная история: я украл у матери рубль. Однажды вечером мать ушла куда-то, оставив меня домовничать с ребёнком; скучая, я развернул одну из книг вотчима «Записки врача» Дюма-отца, и между страниц увидел два билета – в десять рублей и в рубль. Книга была непонятна, я закрыл её и вдруг сообразил, что за рубль можно купить не только «Священную историю», но, наверное, и книгу о Робинзоне. Что такая книга существует, я узнал незадолго перед этим в школе: в морозный день, во время перемены, я рассказывал мальчикам сказку, вдруг один из них презрительно заметил:

– Сказки – чушь, а вот Робинзон – это настоящая история!

Нашлось ещё несколько мальчиков, читавших Робинзона,

все хвалили эту книгу, я был обижен, что бабушкина сказка не понравилась, и тогда же решил прочитать Робинзона, чтобы тоже сказать о нём – это чушь!

На другой день я принёс в школу «Священную историю» и два растрёпанных томика сказок Андерсена, три фунта белого хлеба и фунт колбасы. В тёмной, маленькой лавочке у ограды Владимирской церкви был и Робинзон, тощая книжонка в жёлтой обложке, и на первом листе изображён бородатый человек в меховом колпаке, в звериной шкуре на плечах, – это мне не понравилось, а сказки даже и по внешности были милые, несмотря на то, что растрёпаны.

Во время большой перемены я разделил с мальчиками хлеб и колбасу, и мы начали читать удивительную сказку «Соловей» – она сразу взяла всех за сердце.

«В Китае все жители – китайцы и сам император – китаец», – помню, как приятно удивила меня эта фраза своей простой, весело улыбающейся музыкой и ещё чем-то удивительно хорошим.

Мне не удалось дочитать «Соловья» в школе – не хватило времени, а когда я пришёл домой, мать, стоявшая у шестка со сковородником в руках, поджаривая яичницу, спросила меня странным, погашенным голосом:

– Ты взял рубль?

– Взял; вот – книги...

Сковородником она меня и побила весьма усердно, а книги Андерсена отняла и навсегда спрятала куда-то, что было

горше побоев.

В школе я проучился почти всю зиму, а летом умерла моя мать, и дед тотчас же отдал меня «в люди» – в ученики к чертёжнику. Хотя я и прочитал несколько интересных книг, но всё-таки особенного желания читать у меня не было, да и времени на это не хватало. Но скоро это желание явилось и сразу же стало сладкой мукой моей – об этом я подробно рассказал в книжке моей «В людях».

Сознательно читать я научился, когда мне было лет четырнадцать. В эти годы меня увлекала уже не одна фабула книги, – более или менее интересное развитие изображаемых событий, – но я начинал понимать красоту описаний, задумываться над характерами действующих лиц, смутно догадывался о целях автора книги и тревожно чувствовал различие между тем, о чём говорила книга, и тем, что внушала жизнь.

Жилось мне в ту пору трудно, – моими хозяевами были закоренелые мещане, люди, главным наслаждением которых являлась обильная еда, а единственным развлечением – церковь, куда они ходили, пышно наряжаясь, как наряжаются, идя в театр или на публичное гулянье. Работал я много, почти до отупения, будни и праздники были одинаково загромождены мелким, бессмысленным, безрезультатным трудом.

Дом, в котором жили мои хозяева, принадлежал «подрядчику землекопных и мостовых работ», маленькому коре-

настому мужику с Клязьмы. Остробородый, сероглазый, он был зол, груб и как-то особенно спокойно жесток. У него было человек тридцать рабочих, все – владимирские мужики; жили они в тёмном подвале с цементным полом и маленькими окнами ниже уровня земли. Вечерами, измученные работой, поужинав щами из квашеной вонючей капусты с требухой или солониной, от которой пахло селитрой, они выполняли на грязный двор и валялись на нём, – в сыром подвале было душно и угарно от огромной печи. Подрядчик являлся в окне своей комнаты и орал:

– Эй, вы, дьяволы, опять на двор вылезли? Развалились, свиньи! У меня в доме хорошие люди живут – али им приятно глядеть на вас?

Рабочие покорно уходили в подвал. Все это были люди печальные, они редко смеялись, почти никогда не пели песен, говорили кратко, неохотно и, всегда выпачканные землёй, казались мне покойниками, которых воскресили против их воли для того, чтобы мучить ещё целую жизнь.

«Хорошие люди» – офицеры, картёжники и пьяницы, они били денщиков до крови, били любовниц, пёстро одетых женщин, куривших папиросы. Женщины тоже напивались и хлестали денщиков по щекам. Пили и денщики, пили по-много, насмерть.

В воскресные дни подрядчик выходил на крыльцо и садился на ступени, с длинной узкой книжкой в одной руке, с обломком карандаша в другой; к нему гуськом, один за дру-

гим, подходили землекопы, точно нищие. Они говорили пониженными голосами, кланяясь и почёсываясь, а подрядчик орал на весь двор:

– Ладно, будет! Бери целковый! Чего? А в морду – хочешь? Хватит с вас! Иди прочь... Но!

Я знал, что среди землекопов есть немало однодеревенцев подрядчика, есть родственники его, но он со всеми был одинаково жесток и груб. И землекопы были тоже жестоки и грубы в отношении друг к другу, а особенно – к денщикам. Почти каждое воскресенье на дворе разгорались кровавые драки, гудела трёхэтажная грязная ругань. Землекопы дрались беззлобно, как бы выполняя надоевшую им обязанность; избитый до крови отходил или отползал в сторону и там молча осматривал свои царапины, раны, ковырял грязными пальцами расшатанные зубы.

Разбитое лицо, затёкшие от ударов глаза никогда не вызывали сострадания товарищей, но если была разорвана рубаха – все сожалели об этом, а избитый хозяин рубахи угрюмо злился, иногда плакал.

Эти сцены вызывали у меня неопишимо тяжёлое чувство. Мне было жалко людей, но я жалел их холодной жалостью, у меня никогда не возникало желания сказать кому-нибудь из них ласковое слово, чем-либо помочь избитым – хотя бы воды подать, чтобы они смыли отвратительно густую кровь, смешанную с грязью и пылью. В сущности, я не любил их, немножко боялся и – произносил слово «мужик» так же, как

мои хозяева, офицеры, полковой священник, сосед-повар и даже денщики, – все эти люди говорили о мужиках с презрением.

Жалеть людей – это тяжело, всегда хочется радостно любить кого-нибудь, а любить было некого. Тем горячее я любил книги.

Было и ещё много грязного, жестокого, вызывавшего острое чувство отвращения, – я не буду говорить об этом, вы сами знаете эту адскую жизнь, это сплошное издевательство человека над человеком, эту болезненную страсть мучить друг друга – наслаждение рабов. И вот в такой проклятой обстановке я впервые стал читать хорошие, серьёзные книги иностранных литераторов.

Я, вероятно, не сумею передать достаточно ярко и убедительно, как велико было моё изумление, когда я почувствовал, что почти каждая книга как бы открывает предо мною окно в новый, неведомый мир, рассказывая мне о людях, чувствах, мыслях и отношениях, которых я не знал, не видел. Мне казалось даже, что жизнь, окружающая меня, всё то суровое, грязное и жестокое, что ежедневно развёртывалось предо мною, всё это – не настоящее, ненужное; настоящее и нужное только в книгах, где всё более разумно, красиво и человечно. В книгах говорилось тоже о грубости, о глупости людей, об их страданиях, изображались злые и подлые, но рядом с ними были другие люди, каких я не видал, о которых даже не слышал, – люди честные, сильные духом, правдивые,



всегда готовые хоть на смерть ради торжества правды, ради красивого подвига.

Первое время, опьянённый новизною и духовной значительностью мира, открытого для меня книгами, я стал считать их лучше, интереснее, ближе людей и – как будто – немного ослеп, глядя на действительную жизнь сквозь книги. Но суровая умница-жизнь позаботилась вылечить меня от этой приятной слепоты.

По воскресеньям, когда хозяева уходили в гости или гулять, я вылезал из окна душной, пропахшей жиром кухни на крышу и там читал. По двору плавали, как сомы, полупьяные или сонные землекопы, визжали горничные, прачки и кухарки от жестоких нежностей денщиков, я – посматривал с высоты на двор и величественно презирал эту грязненькую, пьяную, распутную жизнь.

Один из землекопов был десятник, или «нарядчик», как они звали его, угловатый, неладно сделанный из тонких костей и синих жил старичок Степан Лешин, человек с глазами голодного кота и седенькой, смешно рассеянной бородкой на коричневом лице, на жилистой шее и в ушах. Оборванный, грязный, хуже всех землекопов, он был самый общительный среди них, но они заметно боялись его, и даже сам подрядчик говорил с ним, понижая свой крикливый, всегда раздражённый голос. Я не раз слышал, как рабочие ругали Лешина за глаза:

– Скупой чёрт! Иуда! Холуй!

Старичок Лешин был очень подвижен, но не суетлив, он как-то тихонько, незаметно являлся то в одном углу двора, то в другом, везде, где собиралось двое-трое людей: подойдёт, улыбнётся кошачьими глазами и, шмыгнув широким носом, спрашивает:

– Ну, что, а?

Мне казалось, что он всегда чего-то ищет, ждёт какого-то слова.

Однажды, когда я сидел на крыше сарая, Лешин, покрывавая, влез ко мне по лестнице, сел рядом и, понюхав воздух, сказал:

– Сенцом пахнет... Это ты хорошо место нашёл – и чисто, и от людей в стороне... Чего читаешь?

Он смотрел на меня ласково, и я охотно рассказал ему о том, что читал.

– Так, – сказал он, покачивая головой. – Так – так!

Потом долго молчал, ковыряя чёрным пальцем руки разбитый ноготь на левой ноге, и вдруг, скосив глаза на меня, заговорил, негромко и певуче, точно рассказывая:

– Был во Владимире учёный барин Сабанеев, большой человек, а у него – сын Петруша. Тоже всё книжки читал и других к тому приохочивал, так его – заарестовали.

– За что? – спросил я.

– За это самое! Не читай, а коли читаешь – помалкивай!

Он усмехнулся, подмигнул мне и сказал:

– Гляжу я на тебя – сурьёзный ты, не озоруешь. Ну, ниче-

го, живи...

И, посидев на крыше ещё немножко, он спустился на двор. После этого я заметил, что Лешин присматривается ко мне, следит за мной. Он всё чаще подходил ко мне со своим вопросом:

– Ну, что, а?

Однажды я рассказал ему какую-то очень взволновавшую меня историю о победе доброго и разумного начала над злым, он выслушал меня очень внимательно и, качнув голову, сказал:

– Бывает.

– Бывает? – радостно спросил я.

– Да ведь – а как же? Всё бывает! – утвердил старик. – Вот я те поведаю...

И «поведал» мне тоже хорошую историю о живых, не книжных людях, а в заключение сказал, памятно:

– Конечно, ты эти дела вполне понять не можешь, однако – разуме́й главное: пустяков много, в пустяках запутался народ, ходу нет ему – к богу ходу нет, значит! Великое стеснение от пустяков, понимаешь?

Эти слова толкнули меня в сердце оживляющим толчком, я как будто прозрел после них. А ведь в самом деле, эта жизнь вокруг меня – пустяковая жизнь, со всеми её драками, распутством, мелким воровством и матерщиной, которая, может быть, потому так обильна, что человеку не хватает хороших, чистых слов.

Старик прожил на земле впятеро больше меня, он много знает и, если он говорит, что хорошее в жизни действительно «бывает», – надобно верить ему. Верить – хотелось, ибо книги уже внушили мне веру в человека. Я догадывался, что они изображают всё-таки настоящую жизнь, что их, так сказать, списывают с действительности, значит – думал я – и в действительности должны быть хорошие люди, отличные от дикого подрядчика, моих хозяев, пьяных офицеров и вообще всех людей, известных мне.

Это открытие было для меня огромною радостью, я стал веселее смотреть на всё и как-то лучше, внимательнее относиться к людям и, прочитав что-нибудь хорошее, праздничное, старался рассказать об этом землекопам, денщикам. Они не очень охотно слушали меня и, кажется, не верили мне, но Степан Лешин всегда говорил:

– Бывает. Всё бывает, браток!

Удивительно сильное значение имело для меня это краткое, мудрое слово! Чем чаще я слышал его, тем более оно будило во мне чувство бодрости и упрямства, острое желание «поставить на своём». Ведь если «всё бывает», значит, будет и то, чего мне хочется? Я замечал, что во дни наибольших обид и огорчений, наносимых мне жизнью, в тяжёлые дни, которых слишком много испытал я, именно в такие дни чувство бодрости и упрямства в достижении цели особенно повышается у меня, в эти дни меня с наибольшею силою охватывало юное Геркулесово желание чистить авгиевы конюш-

ни жизни. Это осталось со мною и теперь, когда мне пятьдесят лет, останется до смерти, и этим свойством я обязан священному писанию человеческого духа – книгам, отражающим великие мучения и пытки растущей души человека, науке – поэзии разума, искусству – поэзии чувств.

Книги продолжали открывать предо мною новое; особенно много давали мне два иллюстрированных журнала: «Всемирная иллюстрация» и «Живописное обозрение». Их картинки, изображавшие города, людей и события иностранной жизни, всё более и более расширяли предо мною мир, и я чувствовал, как он растёт, огромный, интересный, наполненный великими деяниями.

Храмы и дворцы, не похожие на наши церкви и дома, иначе одетые люди, иначе украшенная человеком земля, чудесные машины, изумительные изделия – всё это внушало мне чувство какой-то непонятной бодрости и вызывало желание тоже что-то сделать, построить.

Всё было различно, непохоже, но однако я смутно сознавал, что всё насыщено одной и той же силой – творческой силою человека. И моё чувство внимания к людям, уважение к ним росло.

Я был совершенно потрясён, когда увидел в каком-то журнале портрет знаменитого учёного Фарадея, прочитал непонятную мне статью о нём и узнал из неё, что Фарадей – был простым рабочим. Это крепко ударило меня в мозг, показалось мне сказкой.

«Как же это? – недоверчиво думал я. – Значит – который-нибудь из землекопов тоже может сделаться учёным? И я – могу?»

Не верилось. Я стал доискиваться – нет ли ещё каких-нибудь знаменитых людей, которые были бы сначала рабочими? В журналах никого не нашёл; знакомый гимназист сказал мне, что очень многие известные люди были сначала рабочими, и назвал мне несколько имён, между прочим – Стефенсона, но я не поверил гимназисту.

Чем больше я читал, тем более книги роднили меня с миром, тем ярче, значительнее становилась для меня жизнь. Я видел, что есть люди, которые живут хуже, труднее меня, и это меня несколько утешало, не примиряя с оскорбительной действительностью; я видел также, что есть люди, умеющие жить интересно и празднично, как не умеет жить никто вокруг меня. И почти в каждой книге тихим звоном звучало что-то тревожное, увлекающее к неведомому, задевавшее за сердце. Все люди так или иначе страдали, все были недовольны жизнью, искали чего-то лучшего, и все они становились более близкими, понятными. Книги окутывали всю землю, весь мир печалью о лучшем, и каждая из них была как бы душой, запечатлённой на бумаге знаками и словами, которые оживали, как только мои глаза, мой разум соприкасались с ними.

Нередко я плакал, читая, – так хорошо рассказывалось о людях, так милы и близки становились они. И, мальчишка,

задёрванный дурацкой работой, обижаемый дурацкой руганью, я давал сам себе торжественные обещания помочь людям, честно послужить им, когда вырасту.

Точно какие-то дивные птицы сказок, книги пели о том, как многообразна и богата жизнь, как дерзок человек в своём стремлении к добру и красоте. И чем дальше, тем более здоровым и бодрым духом наполнялось сердце. Я стал спокойнее, увереннее в себе, более толково работал и обращал всё меньше внимания на бесчисленные обиды жизни.

Каждая книга была маленькой ступенью, поднимаясь на которую, я восходил от животного к человеку, к представлению о лучшей жизни и жажде этой жизни. А перегруженный прочитанным, чувствуя себя сосудом, до краёв полным оживляющей влаги, я шёл к денщикам, к землекопам и рассказывал им, изображал перед ними в лицах разные истории.

Это их забавляло.

– Ну, шельма, – говорили они. – Настоящий комедиант! Тебе в балаган, на ярманку надо!

Конечно, я ждал не этого, а чего-то другого, но – был доволен и этим.

Однако мне удавалось иногда, – не часто, разумеется, – заставить владимирских мужиков слушать меня с напряжённым вниманием, а не раз доводить некоторых до восторга и даже до слёз – эти эффекты ещё более убеждали меня в живой возбуждательной силе книги.

Василий Рыбаков, угрюмый парень, силач, любивший

молча толкать людей плечом так, что они отлетали от него мячиками, – этот молчаливый озорник отвёл меня однажды в угол за конюшню и предложил мне:

– Лексей – научи меня книгу читать, я тебе полтину дам, а не научишь – бить буду, со света сживу, ей-богу, вот – крещусь!

И – размашисто перекрестился.

Я побаивался его угрюмого озорства и начал учить парня со страхом, но дело сразу пошло хорошо, Рыбаков оказался упрям в непривычном труде и очень понятлив. Недель через пять, возвращаясь с работы, он таинственно позвал меня к себе и, вытащив из фуражки клочок измятой бумаги, забормотал, волнуясь:

– Гляй! Это я с забора сорвал, что тут сказано, а? Погоди – «продаётся дом» – верно? Ну – продаётся?

– Верно.

Рыбаков страшно вытаращил глаза, лоб его покрылся потом, помолчав, он схватил меня за плечо и, раскачивая, тихонько говорил:

– Понимаешь – гляжу на забор, а мне будто шепчет кто: «продаётся дом»! Господи помилуй... Прямо как шепчет, ей-богу! Слушай, Лексей, неужто я выучился – ну?

– А читай-ка дальше!

Он уткнул нос в бумагу и зашептал:

– «Двух – верно? – этажный, на камен-ном»...

Рожа его расплылась широчайшей улыбкой, он мотнул го-



ловой, выругался матерно и, посмеиваясь, стал аккуратно свёртывать бумажку.

– Это я оставляю на память – как она первая... Ах ты, господи... Понимаешь? Как будто – шепчет, а? Диковина, брат. Ах ты...

Я хохотал безумно, видя его густую, тяжёлую радость, его детское милое недоумение перед тайной, вскрывшейся перед ним, тайной усвоения посредством маленьких чёрных знаков чужой мысли и речи, чужой души.

Я мог бы много рассказать о том, как чтение книг – этот привычный нам, обыденный, но в существе своём таинственный процесс духовного слияния человека с великими умами всех времён и народов – как этот процесс чтения иногда вдруг освещает человеку смысл жизни и место человека в ней, я знаю множество таких чудесных явлений, исполненных почти сказочной красоты.

Не могу не рассказать об одном из таких случаев.

Я жил в Арзамасе, под надзором полиции, мой сосед, земский начальник Хотяинцев, особенно невзлюбил меня – до того, что даже запретил своей прислуге беседовать по вечерам у ворот с моей кухаркой. Полицейского поставили прямо под окно мне, и он с наивной бесцеремонностью заглядывал в комнаты, когда находил это нужным. Всё это очень напугало горожан, и долгое время никто из них не решался зайти ко мне.

Но однажды, в праздник, явился кривой человек в под-

дёвке, с узлом под мышкой, и предложил мне купить у него сапоги. Я сказал, что мне не нужно сапог. Тогда кривой, подозрительно заглянув в дверь соседней комнаты, тихонько заговорил:

– Сапоги – это для прикрытия настоящей причины, господин писатель, а пришёл я попросить – нет ли хорошей книжечки почитать?

Его умный глаз не возбуждал сомнения в искренности желания и окончательно убедил меня в ней, когда на мой вопрос – какую бы хотел он получить книгу, кривой обдуманно сказал робким голосом и всё оглядываясь:

– Насчёт законов жизни что-нибудь, то есть – законов мира. Не понимаю законов этих – как жить и – вообще. Тут недалеко казанский профессор математик на даче живёт, так я у него, за починку обуви и за садовые работы, – я тоже и садовник, – уроки математики беру, только она мне не отвечает, а сам он – молчаливый...

Я дал ему плохонькую книжку Дрейфуса «Мировая и социальная эволюция» – единственное, что нашлось у меня по вопросу.

– Чувствительно благодарен! – сказал кривой, бережно засунув книгу за голенище сапога. – Позвольте придти к вам для беседы, когда прочитаю... Только я на этот раз приду садовником, будто малину в саду подрезать, а то, знаете, полиция – очень окружает вас, и вообще – неудобно мне...

Он пришёл дней через пять, в белом фартуке с садовы-

ми ножницами, пучком мочала в руках, и удивил меня своим радостным видом. Его глаз сверкал весело, голос звучал громко и твёрдо. Почти с первых же слов он ударил ладонью по книжке Дрейфуса и заговорил торопливо:

– Могу я сделать отсюда такое умозаключение, что бога – нет?

Я не поклонник таких поспешных «умозаключений» и потому начал осторожно допрашивать его – чем привлекает его именно это «умозаключение».

– Для меня это – главнейшее! – горячо и тихо заговорил он. – Я так рассуждаю, как все подобные: ежели существует господь бог и всё в его воле, стало быть, я должен тихо жить, покорствуя высшим предначертаниям Божиим. Весьма много прочитал божественного – Библию, Тихона Задонского сочинения, Златоуста, Ефрема Сирина и всё прочее. Однако – я желаю знать: отвечаю я за себя и за всю жизнь или нет? По писанию выходит – нет, живи, как предуказано, и все науки – ни к чему. Также и астрономия – фальшь одна, выдумка. И математика тоже и всё вообще. Вы, конечно, с этим не согласны, чтобы покорствоваться?

– Нет, – сказал я.

– А почему же я должен быть согласен? Вот вас за несогласность под надзор полиции выслали сюда, значит – вы решаетесь восставать против священного писания, потому что я так понимаю: всякое несогласие – обязательно против священного писания. Из него все законы подчинения, а законы

свободы – от науки, то есть от человеческого разума. Теперича – дальше: ежели бог, то мне делать нечего, а без него – я должен отвечать за всё, за всю жизнь и всех людей! Я желаю отвечать, по примеру святых отцов, только иначе – не подчинением, а сопротивлением злу жизни!

И, снова ударив ладонью по книге, он добавил с убеждением, явно непоколебимым:

– Всякое подчинение – зло, потому что оно укрепляет зло! И вы меня извините – я этой книжке верю! Она для меня – как тропа в дремучем лесу. Я уж так решил для себя – отвечаю за всё!

Мы дружески беседовали до поздней ночи, и я убедился, что неважная маленькая книжка была последним ударом, оформившим мятежные поиски человеческой души в твёрдое религиозное верование, в радостное преклонение пред красотой и силой мирового разума.

Этот милый, умный человек действительно честно сопротивлялся злу жизни и спокойно погиб в 907-м году.

Вот так же, как угрюмому озорнику Рыбакову, книги шептали мне о другой жизни, более человеческой, чем та, которую я знал; вот так же, как кривому сапожнику, они указывали мне моё место в жизни. Окрыляя ум и сердце, книги помогли мне подняться над гнилым болотом, где я утонул бы без них, захлебнувшись глупостью и пошлостью. Всё более расширяя предо мною пределы мира, книги говорили мне о том, как велик и прекрасен человек в стремлении к лучше-

му, как много сделал он на земле и каких невероятных страданий стоило это ему.

И в душе моей росло внимание к человеку – ко всякому, кто бы он ни был, скоплялось уважение к его труду, любовь к его беспокойному духу. Жить становилось легче, радостнее – жизнь наполнялась великим смыслом.

Так же, как в кривом сапожнике, книги воспитали во мне чувство личной ответственности за всё зло жизни и вызвали у меня религиозное преклонение пред творческой силой разума человеческого.

И с глубокой верою в истину моего убеждения я говорю всем: любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески поможет разобраться в пёстрой и бурной путанице мыслей, чувств, событий, она научит вас уважать человека и самих себя, она окрыляет ум и сердце чувством любви к миру, к человеку.

Пусть она будет враждебна вашим верованиям, но если она написана честно, по любви к людям, из желания добра им – тогда это прекрасная книга!

Всякое знание – полезно, полезно и знание заблуждений ума, ошибок чувства.

Любите книгу – источник знания, только знание спасительно, только оно может сделать нас духовно сильными, честными, разумными людьми, которые способны искренно любить человека, уважать его труд и сердечно любоваться прекрасными плодами его непрерывного великого труда.

Во всём, что сделано и делается человеком, в каждой вещи – заключена его душа, всего больше этой чистой и благородной души в науке, в искусстве, всего красноречивее и понятнее говорит она – в книгах.